

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

ПРАВДА

Николай Георгиевич Гарин- Михайловский Правда

Аннотация

«Утренний воздух был тих и прозрачен. Стояли последние золотые дни осени. Маленький городок спал над рекой, спал в сверкающем утре, в прозрачном воздухе осени, охваченный голубым, как эмаль, небом...»

Николай Гарин- Михайловский

Правда

Утренний воздух был тих и прозрачен. Стояли последние золотые дни осени. Маленький городок спал над рекой, спал в сверкающем утре, в прозрачном воздухе осени, охваченный голубым, как эмаль, небом.

Городской парк отливал последними осенними красками: желтым, красным, бурым. В парке по дорожкам, покрытым, как коврами, влажными мягкими листьями, было тихо, уютно, пахло свежей листвой. Звонкое чириканье какой-то птички мелодично и нежно говорило о чем-то неизведанном, неоконченном еще, о неге, о гармонии жизни.

Вдруг гулкий выстрел резко нарушил эту гармонию.

Сторож, бросившийся на выстрел, нашел у одной из скамеек парка свежий труп молодой женщины.

Мертвая лежала на земле в уродливой позе, говорившей без слов о всем ужасе последних мгновений, о том напряжении, которое сделала она, чтобы взять верх над жизнью.

Чувствовалось, что в парке утром грубо и быстро сведен какой-то счет с жизнью.

На мертвом, запрокинутом лице молодой женщины еще лежала печать судороги, омерзения, злобы. Но там, где-то в

глубине черт этого темного мясистого лица, в опущенных углах полных губ, в густых мягких каштановых волосах, прилипших на виске, где виднелась ранка и струя застывшей крови, чувствовалось что-то иное, что-то болевое, детское; ощущение оскорбленного ребенка, у которого грубо, по праву сильного, кто-то отнял его лучшую игрушку, отнял всю его радость, – и теперь спит этот ребенок на груди матери. И во сне все та же обида и боль и те же безнадежно опускающиеся углы губ.

Явилась полиция, следователь, доктор; нашли письмо, два письма, – одно ко всем, с просьбой никого не винить, другое – к мужу.

Следователь, заметив, что «за последнее время какая-то эпидемия пошла на самоубийства молодых дам», составил протокол, а письмо на имя мужа покойной отправил к мужу.

Муж, напряженный, взвинченный, похожий на безумного или осужденного, решившегося дорого продать свою жизнь, выслушал страшную новость и ушел с письмом в свой кабинет. Еще полчаса тому назад, раздраженный, давно уже больше не сдерживавший себя, по поводу возмущавших его ранних уходов жены из дому, сделал ей отвратительную обычную сцену. Выскочив, как был в одном белье, на улицу, он кричал ей вдогонку, – кричал на всю улицу, чтобы она не смела больше показываться в его доме.

Но он и прежде так же кричал на нее. И она так же, как и прежде, вдруг повернувшись, издали ответила, не повышая

голоса, но с тем загадочным выражением, которое всегда его так смущало.

– Нет, нет, не приду!

И приходила....

Известие о смерти свалилось на него, как лавина льда и снега в пылающее пожарище. Он запер дверь и, присев на стул, дрожащими руками распечатал письмо. Письмо от той, которой уже не было теперь, но она еще жила, когда писала это письмо. И в последний раз вся она, живая, вдруг встала перед ним, стояла и требовала теперь от него отчета, правды...

Он сидел, откинувшись на спинку стула. Думал о ней, зная, что теперь никто его не видит, что теперь не нужно больше борьбы, оружия, маски, – теперь он лицом к лицу только сам перед собой, и даже она, еще живая в этом письме и уже мертвая там в парке, была теперь все тот же он, сам он, ее убийца.

И он был похож на убийцу. Холодный пот выступил у него на лбу, слабость до обморока, до тошноты охватила все его тело, онемели пальцы, и, в бессилии, он уронил письмо. Бессмысленными глазами, бледнее мертвеца, он сидел растерянный и смотрел перед собой. Только в жестких волосах его, в бороде и усах, с красноватым металлическим блеском, чувствовалась все та же животная сила, все тот же он, каким был и будет, – грубый, жестокий, себялюбивый, несправедливый, ничем неограниченный в своем желании. Ах, если б она бы-

ла жива, если бы она вдруг ожила. О, как отомстил бы он ей за все теперь пережитое!

И злорадная мысль проскользнула в его голове: «И это мать... бросившая своих детей».

Он провел рукой по лбу и уже с иным чувством поднял письмо и начал читать его.

«Отбросьте ненависть и злобу ко мне и терпеливо прочтите до конца это письмо. Может быть, многое в моем поведении выяснится вам хоть теперь. Я хочу сказать правду и не хочу обличать или упрекать, так как уверена, что зло, вами причиненное мне, неумышленное, и не в вас одном оно: и во мне и во всех... Я хочу теперь рассказать вам о всем моем душевном состоянии за все время нашего злосчастного супружества, с самого первого его мгновения. Вы скажете, что это опять та же старая песня. Правда, она стара, эта песня, но она – и начало и конец всему, и она никогда не была допета до конца.

Ведь я не виновата, что родилась такой, – с пылким воображением, горячим сердцем. А судьба меня свела с практиком, материалистом, расчетливым до скупости и циничным в своих отношениях. Может быть, с другой и вы были бы другим, – ведь считают же вас и общественным деятелем и хорошим товарищем, – но со мной, кроме первых мгновений нашей жизни, вы таким не были. И то, что вы давали мне в первое мгновение, вы так грубо отняли потом и даже как бы считали себя вправе вымещать мне за эти мгно-

венья... И так жестоко и так настойчиво! Иногда мне казалось, что вся злость ваша происходит от воспоминания об этих первых мгновениях, которые вы точно хотели совсем, совсем уничтожить в своей и моей памяти. И только в минуты животных порывов в вас просыпалось чувство... Но какое чувство? О, вы были в этом талантливы! Вы умели заставить меня выслушивать рассказы об отвратительных сценах развратной жизни других и о возможном моем разврате с этими другими. Это вас возбуждало! О, боже мой! Умоляя вас молчать, я задыхалась: в мучительном унижении просыпалось и во мне грязное чувственное ощущение! И вы угадывали его и мстили потом грубо, цинично ревнуя меня ко всем, следя за каждым моим взглядом и словом, запрещая мне говорить, мешая мне чувствовать себя с людьми по-человечески. И под конец я дошла до того, что чувствовала себя так, точно с меня сняли все платья, и стою я обнаженная, напрасно закрывая свое голое тело. Жизнь наша была хуже гаремной: там хоть ясно все, а у нас с вами все было скрыто под лоском культуры! О, какая гнусная культура! Часто, когда у нас собиралось общество или когда мы бывали в обществе, мне хотелось вдруг встать и сказать, крикнуть, что все это ложь, обман, что все эти нарядные мужчины – только маски, что все их веселые, ласковые слова о любви и свободе, равноправии женщин – только слова! Они приедут домой и снимут свои маски и покажут, каждый по-своему, свои страшные лица пашей и палачей, каждый в своей тюрь-

ме, каждый на свой лад. Палачей неограниченных, не сознающих и не чувствующих, что палачи они, злящиеся даже на то, что эти рабы, эти их жертвы стонут.

Раз, только раз проснулся во мне свободный человек, и я не захотела быть им. Из всех ваших грязных подозрений одно имело основание, но грязного ничего тут не было! В первый и последний раз я полюбила, и в первый раз только вам теперь и говорю об этой своей любви. От меня все зависело, и тяжкий мой грех перед собой только в том, что не была я вольна своему чувству тогда. Я принесла его в жертву детям. И это была громадная ошибка, потому что этим я потушила огонь своей души: где грело и светило, там стало темно и холодно, и остывший пепел этого чувства только ел глаза и грязнил все окружающее. Я тогда хотела идти на курсы, отдаться общественной деятельности, не найдя ничего в личной жизни. И вы убедили, а я согласилась, что поздно, что нельзя уходить от детей, – и я осталась. Для чего? Чтоб все-таки уйти тем ужасным выходом, который один у меня теперь остался?! Потому что в том состоянии, в каком я была за последнее время, что я могла дать детям? С разбитыми нервами, с расстроенным здоровьем, раздраженная и озлобленная, я начинала и их ненавидеть, как вас, их – невинных виновников всех моих, но им не нужных жертв. Боже мой; что я говорю?! Но я говорю правду! Разве я, теперешняя, могла воспитывать своих детей?! Вы – воспитатель?! Да разве в интересах наших детей нам обоим не следовало бы убе-

жать от них на край света и никогда их не видеть и никогда не заражать их чистых душ тем смрадом, в котором мы сами живем? Ведь мы же с вами больны, больны самой ужасной, самой заразной болезнью, и неизбежно передадим эту болезнь и детям нашим. И если уж нельзя обоим нам оставить наших детей, то все-таки лучше пусть один из нас их бросит! Вам, конечно, вам надо их бросить, оставив меня с ними. Но ведь вы не уйдете? В крайнем случае вы весь свой либерализм отбросите, прибегнете к суду и к полиции, чтобы только удержать их у себя. А о материальных средствах и говорить нечего! Их у меня нет, и моя мать, сама так же в свое время страдавшая, никогда не подумала дать мне ремесло в руки... И вот теперь!.. Куда мне деваться? У вас право на моих детей и деловая, общественная жизнь, а у меня – ничего. Была одна моя внутренняя жизнь, но и она отнята у меня: в моем храме взломали двери и ворвались в мое святое святых злые, раздраженные люди, бьют и ломают всё и гонят меня. Куда, куда же уйти мне? Превратиться в вашу экономку, с которой вы будете взыскивать каждый грош, каждую копейку? В воспитательницу ваших детей, выслушивать приказы так и так воспитывать их? Смотреть и видеть, как вы ищете ласки ваших горничных? Переносить все грубости циничного развратника со мной, не смей и не иметь возможности сорвать с вас маску и крикнуть вам: кто вы? Но могу ли я посмечь на это? Не могу, потому что у меня нет свидетелей, а нет свидетелей – и ничего нет у меня! И я оста-

лась одна с своим самочувствием, и мое право только умереть, если это самочувствие выше моих сил.

И я умираю. И все примиряется навсегда в моей, душе. Пусть мое тело не возвратится домой! Пусть дети не знают правды и пусть думают, что я исчезла на время и когда-нибудь опять возвращусь.

О, если бы вы могли исполнить мою просьбу? У французов, у англичан уже есть, говорят, воспитательные дома не только для незаконнорожденных... отдайте же и наших детей на воспитание Анне Николаевне. Она чужая им, но она хороший и просвещенный человек. Она воспитательница по природе, хотя и никогда не была матерью. Она сделает их людьми в истинном смысле этого слова. Она вырвет их из эгоистичной скорлупы этого гнусного „я, я, я“. Она осмыслит им их самих, – осмыслит вовремя, и этим даст им силы бороться за лучшее существование.

О, если б вы исполнили эту мою последнюю просьбу, мою предсмертную молитву, если б вы поняли всю правду ее?.. Я верю, я хочу верить, что вы поймете меня и исполните. Я всю жизнь верила, может быть, от этого, и умирая, все-таки верю! Верю!

О, простите меня! Ведь и я кругом не права, – когда люди заелись, – оба не правы. Я виновата, – простите мне все злое, что сделала я вам, может быть, не поняв вас? Ведь все зло в этом, в том, что – чужие мы души, что не понимали мы друг друга.

Ах, зачем, зачем, давно поняв это, не разошлись мы, спасая себя и отдав детей наших той же Анне Николаевне. Умоляю же вас, сделайте это теперь, хотя бы во имя того, что я уступаю вам дорогу, раз уж жизнь такова, что нам двоим тесен мир божий?

Кончаю письмо и думаю: вот сейчас я допишу его, спрячу его в карман, оденусь и выйду, чтоб никогда больше не возвращаться. И так хотелось бы в это последнее мгновение, выходя, сохранить мир души! Я так боюсь встречи с вами, и так хочу избегнуть хоть на этот раз всего того, что опять перевернет и озлобит всю мою душу...»

Ниже была приписка, сделанная нервно, судорожно карандашом:

«...И встретила в это последнее мгновение, и это последнее мгновение было отнято, отравлено, уничтожено, осквернено... Ненавижу себя, вас, детей, которых вы не отдадите Анне Николаевне и которые в свое время будут такими же, как вы, палачами, такими же членами этого общества, – общества, создавшего и поддерживающего весь этот ад жизни...»

О, боже мой, что же я пишу?! Что?! Да простит мне господь, – я пишу правду!»